

Ж.В. Перковская

**«Борьба за жизнь»: словенский язык
в зарубежной историко-культурной среде и «вращание в язык»
(по произведениям Мирослава Кошуты и Марко Кравоса
и роману Лойзе Ковачича «Детские пожитки»)**

Аннотация: Автор анализирует произведения писателей-триестинцев, пишущих на словенском языке, – «Моряк на козе» Мирослава Кошуты и «Нескучные времена: Триест глазами лягушонка» Марко Кравоса, демонстрируя, как принадлежность к двум культурам отражается на образе мышления писателя, на работе тех «механизмов» в его сознании и подсознании, которые управляют речью. Мемуары «Детские пожитки» словенского автора Лойзе Ковачича, детские годы проведенного в Швейцарии, позволяют увидеть сам процесс «вращения в язык». Автор отмечает, что обращение к народной традиции становится для авторов способом сохранения принадлежности к родному языку: отсылки к народному песенному творчеству характерны для всех авторов, на материале текстов которых построен доклад.

Ключевые слова: словенский язык в зарубежной историко-культурной среде, Триест, Мирослав Кошута, Марко Кравос, Лойзе Ковачич, народная традиция

Abstract: Slovenians have long been denied the opportunity to use their own language freely. In the Province of Trieste, which is densely populated by Slovenes, although they are a minority, fighting for this right has been a particular challenge. This is narrated in the books of two Slovene-writing authors from Trieste Miroslav Košuta “A Sailor on the Goat” and Marko Kravos “The Time which was not Dull: Trieste from the Perspective of a Little Frog”. A person belonging to the two cultures has a peculiar way of thinking, his own conscious and subconscious mechanisms of speech-creating. The Slovenian author Lojze Kovačič who came to Slovenia from Switzerland in his early childhood, is reflecting on the process of his “growing in the language” in his book “Childish Things». All the authors refer to folk songs: folk tradition becomes a sort of weapon and instrument which helps to keep commitment of the native language.

Key words: the Slovenian language in foreign historical-cultural environment, Trieste, M. Košuta, M. Kravos, L. Kovačič, folk tradition

«Теперь уж не припомнить – выбирал ли я планету, на которой родиться [...]. И все же случилось так, что я, едва родившись, оказался в самом средоточии мира сего, да что там мира: местом, где я появился на свет, был – ни много ни мало – сам пуп Вселенной» (Košuta 2016: 5).

Так начинается книга воспоминаний «Моряк на козе» (Košuta 2016). Автор Мирослав Кошута – словенский поэт и писатель, проживающий в окрестностях итальянского города Триест неподалеку от границы Словении. Почему моряк – и вдруг на козе? Это заголовок-символ: в нем открытость всему миру уживается с замкнутым пространством подворья. Само слово «граница» в словенском языке – однокоренное русскому «межа». И действительно, есть на земле места, где трудно понять, межа или граница разделяет нации. Триест именно такая территория: город побывал в составе Империи Древнего Рима, был захвачен Венецианской Республикой, присягал на верность Габсбургской монархии, затем, по итогам Первой мировой войны, отошел к Италии, в период Второй мировой войны подвергся немецкой оккупации, по окончании войны управлялся англо-американскими военными властями, под контролем которых в 1947–1954 гг. именовался Свободной территорией Триеста, после чего был окончательно передан Италии.

На этой земле издревле проживали словенцы, но пользоваться свободно родным языком им не всегда удавалось: были времена, когда словенца могли лишить даже имени, которым его нарекли в семье.

Именно такой эпизод описывает Мирослав Кошута в своей книге «Моряк на козе»: «Я родился в четырнадцатый год фашистской эры. Это наложило глубокий отпечаток на всю мою жизнь: чуждая мне фамилия, навязанное имя и – любовь к родному языку, отвращение к черным рубашкам и фасциям – изображению пучка прутьев, перевязанных бечевою, с воткнутым в них топором.

Год 1936 мы должны были указывать как “Anno XIV. dell’Era Fascista”, читалось это так “anno kvatro dičežimo delera fašista”».

О своем «втором крещении» в первом классе поэт упоминает в следующих строках:

«Занятия начались на непонятном мне языке: то, что это был итальянский, мне было худо-бедно известно, но вот о чем на нем говорят – ума не приложить».

В этом эпизоде учительница, постепенно повышая голос, трижды называет имя: Коссута Анджело. Мальчик не реагирует – ему невдомек, что это вызывают его. И тогда учительница направляется к нему, поднимает его из-за парты за ухо и вlepляет пощечину. «Так я узнал свое официальное имя. Долго еще меня жгла та пощечина».

После свержения диктатора Муссолини, а тем более с окончанием войны школа стала иной. Автор вспоминает о своих учителях, с которыми он встретился уже в средней школе. Один из них с воодушевлением рассказывает классу о Карантании. «Мы любили слушать его истории, но словенство воспринимали как нечто такое, чего никогда не было на самом деле».

Мирослав Кошута родился в 1936 г., и на его долю достались более суровые испытания, связанные с диктатурой Муссолини и военным временем, в то время как его собрат по перу и земляк Марко Кравос, родившийся в 1943 г., т. е. на семь лет позже, застал уже менее жесткую и все-таки далеко не идеальную ситуацию: новые исторические перипетии создали новые препятствия к свободному функционированию словенского языка на итальянских территориях, где компактно проживали

словенцы. Об этом Кравос пишет в новелле «Господична Амалия», вошедшей в его книгу «Нескучные времена: Триест глазами лягушонка» (Kraivos 1999):

«Те из нас, кто поступает в “*тальянские*” школы и отказывается от родного языка, – предатели. Итальянские школы – “*дерьмовые*”, суровым голосом объясняет нам, второклассникам, господична Амалия. В то же самое время какие-то люди – откуда мне знать, что это сторонники Коминформбюро? – упорно называют словенские школы тито-фашистскими. Тот, кто их посещает, – националист. Так вроде бы сказал Сталин. И треть нашего класса родители переводят в итальянскую школу. [...]

Я верю господичне Амалии, хотя понимаю далеко не все. Не так уж они и виноваты, эти предатели. Отец моего одноклассника Руди, железнодорожник, лишился бы работы, если бы его сын продолжал ходить в нашу школу и не переименовался в Родольфо. [...] Что ж, все, что говорит учительница, нужно воспринимать сердцем. Но язык – он-то ведь не может быть *дерьмовым*! Кто-то из окрестных детей говорит на триестинском наречии – ничего не поделаешь, итальянский квартал [...]. Если бы я и в самом деле согласился с тем, что они *дерьмовые*, – как бы я с ними играл? Наши итальянцы – хорошие. А противные, чернявые итальяшки – они водятся только внизу, в Старом городе, где народ ужасно испорчен.

Иногда, правда, они возникают и у нас [...]. Сестру Аленку один такой ударил по лицу, когда она ехала на трамвае в школу [...]. Только за то, что она громко разговаривала по-словенски» (Kraivos 1999: 155–160).

Однако, как ни старается порой история подмять национальную самобытность людей, волею судьбы оказавшихся «на меже», она пасует перед поэтами. Ныне оба автора популярны и в Италии, и в Словении. Их произведения читают по обе стороны «межи», они удостоены высоких государственных наград – как в Словении, так и в Италии.

И все же принадлежность к двум культурам не может не отразиться на образе мышления, на тех механизмах сознания и подсознания, которые управляют речью. Об этом с юмором и некоторой опаской пишет Мирослав Кошута:

Завтрашнее утро в Триесте

Однажды проснусь и скажу невзначай:

– Buongiorno¹, Кошута! Come stai²?

– Неплохо, – отвечу, – с утра как будто здоров.

Потом встрепечусь – показалось мне это?

А ну-ка, еще раз: che cosa hai detto³?

E perché⁴ для «почему» не хватает мне слов?

Бродить по земле родной я пока не устал

Ищу-свищу, но чего? Я не знаю и сам.

Чужое наречие дом обрело в гортани,

и я понимаю: уж скоро тот день настанет,

когда во мне пробудятся сразу два «эго».

Ma cosa vuoi – cosie la vita! Prego⁵!

(Košuta 2011: 53).

В настоящем докладе нам представляется возможным проиллюстрировать проблему языковой самоидентификации еще одним текстом, теперь уже автора, который, по его собственному признанию, долго не мог определиться, какой язык для

¹ Добрый день (итал.)

² Как дела? (итал.)

³ Что вы сказали? (итал.)

⁴ И почему (итал.)

⁵ Но куда денешься – это жизнь. Вот! (итал.)

него роднее – немецкий или словенский. Это Лойзе Ковачич (1928–2004). Его отец, словенец, отправился в Швейцарию, чтобы овладеть портняжным и скорняжным ремеслом. Там он создал семью – его жена была французско-немецких корней, у супругов родился сын Лойзе, однако в 1938 г. семья была вынуждена перебраться к словенским родственникам в деревню Цегелница, поскольку в то время из Швейцарии выдворяли всех, у кого не было швейцарского гражданства. Этот переломный момент своей жизни писатель представляет в своей книге «*Otroške stvari*» (заглавие переведено нами как «Детские пожитки», хотя словенское слово «*stvari*» многозначно: оно может быть переведено как «дела», «вещи» и т. п., выбор слова «пожитки» связан с желанием подчеркнуть заложенное в нем значение достояния, имущества, – это как бы груз, прихваченный автором из детства).

Лойзе Ковачич попадает в Словению без знания словенского языка. Он усваивает его в процессе общения с родней, а звучащие в его окружении народные песни позволяют ему вжиться в язык, найти свое место в мире людей, с которыми он теперь соседствует (здесь следует заметить, что отсылки к народному песенному творчеству присутствуют и у триестинских авторов: словенская песня становится своего рода оружием и орудием сохранения приверженности родному языку). Лойзе Ковачич осмысляет процесс своего «вращения в язык», уже будучи в преклонных годах, это образное, страстное описание единства и борьбы противоположностей, которым нам хотелось бы завершить этот обзор:

«Мне нисколько не верилось в то, что я смогу думать, чувствовать, говорить и даже писать на словенском языке, для меня это было все равно, как если бы я после бурных ночных грез вдруг проснулся ангелом» (Kovačič 2014: 261).

И далее:

«Словенский и немецкий языки в то время, в 1938 году, сплелись в смертельном объятии обоюдной ненависти – и это мог подтвердить кто угодно, от философа до последнего люмпена. Любой язык сидит в человеке с момента зачатия, это его дом. А что если кров делят два столь враждебных постояльца? Они то и дело – по любому поводу, будь то история, политика, национальные традиции, чувства – грызутся меж собой. И пуще всего – в моменты, когда оба представляют себе одно и то же, – о, тогда они сокрушают друг друга с мощью железного ядра, сносящего лачугу... Пятнадцать лет спустя, когда я уже уехал из Цегелницы, стали говорить о том, что это не только мы звучим на языке, но еще и язык озвучивает нас. Мы слышим его еще в материнской утробе, открываем для себя его музыку, строй, законы. Всегда находились одиночки, которые стремились выйти за пределы языка, выразившего их традиционным способом, чтобы озвучить “свое, иное, новое” и открыть в себе истоки собственного языка. Кому-то это удалось, иные канули в Лету... Я и сам на своем двуличном языке, полном ошибок и пороков, преднамеренно или невольно пытался выразить свое “иное”. Я наводил меж языками мостки, когда отказывали все знаки равенства; я нарушал каноны обоих языков и пробовал при помощи некоего третейского синтаксиса примирить и определить смешанные воедино агрегатные состояния – так, как я ощущал их и видел в своей голове. Я вел себя, как подопытный хомячок, волонтер, помещенный меж духовными барьерами обеих традиций. Легче мне от этого не стало. И лишь теперь, вдруг, когда я уже в годах, донельзя скрупулезный родной материнский язык мне оказался ближе, нежели наищепетильнейший родной отцовский. Было бы комфортнее духу, если бы возобладал первый язык? Будучи избавлен от причуд другого языка, смог бы я вольной пташкой распевать о своих экзистенциальных проблемах и бытовых заботах? Увы, теперь переоблачаться поздно, да и никогда бы мне не удалось выйти из состояния раздвоенности. Я очутился бы в пустоте, и пришлось бы юркнуть обратно в чешуйку, из которой проклюнулся: лови ее, пока не унесло течением вместе с ветвью, пока она не затерялась среди потоков, несущихся с гор, а то будешь потом скорбеть, метаться, пенять на себя за то, что гол остался. Я задаю себе вопрос – если бы я пользовался своим

первым языком, – стало бы в нем больше лирики и грусти, характерных для отцовского духа, подобно тому, как в другом языке на поверхности оказалась мамина склонность к осязаемости и рефлексии? Этого мне не узнать никогда» [...] (Kovačič 2014: 261–262).

Таким образом, материал, на примере которого нами рассматривалась специфика статуса словенского языка в иноязычной историко-культурной среде, позволяет сделать вывод о том, что национальный (словенский) язык для его носителей, компактно проживавших (и проживающих) за пределами Словении, не только средство общения, но и фактор формирования национального самосознания, прежде всего в обстоятельствах, этому не благоприятствующих; ситуация, в которой развивался и применялся родной язык, стала предметом глубочайшего его осмысления представителями современной культурно-литературной элиты Словении, а также является объединяющим идеологическим и культурным фактором для всех словенцев, проживающих за пределами своей исторической родины.

ЛИТЕРАТУРА

Košuta M. Drevo življenja. Trst, 2011. 188 s.

Košuta M. Mornar na kozi. Ljubljana, 2016. 259 s.

Kravos M. Kratki časi: Trst iz žabje perspektive. Ljubljana, 1999. 290 s.

Kovačič L. Otroške stvari. Ljubljana, 2014. 351 s.

Сведения об авторе:
Жанна Владимировна Перковская,
переводчик
фриланс
Москва

Zhanna V. Perkovskaya,
Translator
Freelance
Moscow
perkovskaja@gmail.com

THE SLOVENIAN LANGUAGE IN THE FOREIGN HISTORICAL AND CULTURAL ENVIRONMENT AND ‘PLUGGING INTO THE LANGUAGE’ (BASED ON THE LITERARY PIECES OF MIROSLAV KOŠUTA AND MARKO KRAVOS AND THE NOVEL BY LOJZE KOVAČIČ “CHILDISH THINGS”)